

ИСТОРИОСОФСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИТЕРАТУРНЫХ ОБРАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ МОСКВЫ И ПЕТЕРБУРГА

В статье прослеживается различие историософской семантики образных моделей Москвы и Петербурга в произведениях русской литературы: Москва предстает в функции центра-собиранителя русских земель, Петербург как имперский центр выводит страну во внешнее пространство. В каждой из этих многомерных образных моделей есть свой баланс официально-го и частного. Каждая образная модель несет свою часть общего историософского смысла России как Целого.

Ключевые слова: историософская функция, семиосфера, символический капитал, «культурный текст», образная модель, система смыслов, урбанистика.

Мировая литература знает великое множество образных моделей города. Прилежный читатель, листая сотни книг, попадает в огромный мир городов. Городов совершенно разных — знаменитых и безвестных, наделенных важными административными функциями и изначально лишенных таковых, городов старинных и новостроек, промышленных гигантов и тихих академгородков. Писатели осознавали, что город — это всегда сложный комплекс иерархически выстроенных смыслов. Каждая историческая эпоха прибавляла к символическому капиталу города что-то свое, опредмечивая это семантическое *приращение* либо новым зданием, либо новым монументом, либо новой освоенной территорией.

Город имеет собственную многозвенную *семиосферу*, предлагая своему реципиенту тот или иной актуальный набор знаков, который способен его заинтересовать. В последние годы город как семиотическая система стал объектом многих междисциплинарных исследований, авторами которых выступают историки и философы, культурологи и искусствоведы, социологи и психологи, литературоведы и лингвисты. Литературовед прежде всего занимает семантический потенциал образной модели города, с разными целями встраиваемой писателем в художественную систему своего произведения.

* © Голубков С.А., 2012

Голубков Сергей Алексеевич (golubkovsa@yandex.ru), кафедра русской и зарубежной литературы Самарского государственного университета, 443011, Российская Федерация, г. Самара, ул. Акад. Павлова, 1.

Город может выступать необходимым *историческим фоном*, оттеняющим разворачивающиеся события частной истории отношений вымышленных персонажей. Функция такого фона — четкая привязка изображаемого ко вполне определенной системе историко-географических координат. Предметные детали такого фона, указания на узнаваемые приметы эпохи придают фикциональному плану содержания историческую конкретность и убедительность.

Но город может стать и самостоятельным *«персонажем»*, судьба которого интересует писателя как некая смыслоемкая призма, помогающая лучше высветить закономерности отечественной истории, наполнить содержание литературного произведения широкой историософской проблематикой.

Типология городских моделей, созданных русской литературой, достаточно велика и разнообразна. Тут и *столицы*, разнящиеся своей историей, своим внешним уникальным обликом, своим устоявшимся укладом жизни, своей специфической социокультурной функцией. Тут и бесконечное количество образов *уездных* городков, коими столь богата земля российская, — городков, причудливо сочетающих в себе черты строго упорядоченного поселения (собственно города) и бесшабашной разбросанности сельских построек, хаотичной планировки. В 1910-е — 1920-е годы обозначился острый интерес к этой проблематике, побудивший целый ряд писателей создать своеобразную локальную «энциклопедию» уездной жизни («Уездное», «Алатырь» Е. Замятина, «Мелкий бес» Ф. Сологуба, цикл «Заволжье», «Голубые города» А.Н. Толстого, «Городок Окуров» М. Горького, «Город в степи» А. Серафимовича, «Город Градов» А. Платонова, «Унтиловск» Л. Леонова и т. д.).

Русская литература создала целую библиотеку текстов, посвященных и *утопическому* городу как своеобразному идеальному конструкту народного сознания и, прежде всего, граду Китежу (тут можно вспомнить произведения П. Мельникова-Печерского, В. Короленко, М. Горького, М. Пришвина).

В немалом числе произведений отечественных писателей мы найдем образную модель *зарубежного* города, созерцаемого русским человеком, пытающимся найти свои смысловые ключи к чужеземной системе жизни. И опять на память приходит целый ряд известных авторов — от Н.М. Карамзина («Письма русского путешественника»), Н. Гоголя («Рим») до И. Бунина, Г. Газданова, В. Набокова, В. Аксенова и т. д.

Несколько в стороне стоит художественная модель *Рима* как идеального города-матрицы, наделенного немалой суммой сакральных и идеологических функций и побуждающего к неизбежному сопоставлению при оценке других городов, в том числе и российских.

Конечно, особенно повезло в русской литературе столицам-соперницам — Москве и Петербургу, которые самим фактом своего существования побудили огромное число пишущих внести свой индивидуальный вклад в своеобразную художественную «урбанистику». Столь разные, образующие во многих смыслах весьма жесткую оппозицию, эти города сами напрашивались в «герои» русской литературы. Их хотелось детально изображать, искать скрытые метафизические смыслы, сталкивать в непримиримой антитезе, оценивать, вводить в «тайное тайных» собственных лирических переживаний. Оснований для такого сопоставительного художественного исследования могло быть много. Можно было избирательно говорить об архитектурном облике города, как это делал, скажем, Н. Гоголь в одной из своих статей. Можно было говорить о своеобразности литературной и художественной среды, что делали Е. Замятин («Москва — Петербург»), О. Форш («Сумасшедший корабль»), Н. Берберова («Курсив мой»), И.В. Одоевцева («На берегах Невы») и др.

Но, безусловно, наиболее серьезным основанием для продуктивного сопоставления был аспект *историософский*. Открывалась череда вопросов. В самом деле, каково основное историческое предназначение этих городов? Какое судьбоносное «послание» несут они через века своему народу и человечеству? Насколько адекватно и объемно репрезентируют они, эти центральные города, глубинную суть российской государственности? Как сочетается в них амбивалентная евразийская основа России, раскинувшейся от берегов Балтики до берегов Тихого океана? Как сочетаются в московском и петербургском культурных «текстах» (в данном случае мы применяем понятие «текст» в семиотическом значении как эквивалент целостной знаковой системы) устойчивые российские мифологемы и идеологемы, сакральное и профанное, рационально-проективное и естественно-природное, бытийное и бытовое?

Москва воспринималась русскими писателями как центр-*собиратель* русских земель. Сама геометрия планировки города (кольцевые структуры и расходящиеся улицы-радиусы) подчеркивала этот вектор исторического устремления Москвы. В кольца охвата сначала попадали окрестные деревушки (ставшие ныне городскими кварталами), затем ближайшие губернии, а уж потом отдаленные провинции. Так, в лирическом цикле М. Цветаевой «Стихи о Москве» активно функционируют два смысловых концентрика. Один – это ревнивая мысль поэта о сакральном «первенстве» Москвы («первенстве» перед Петербургом). Второй – мысль о городе как «странноприимном доме», гостеприимно предоставляющем кров и хлеб усталому путнику. Конечно, здесь идет речь о старой, дореволюционной Москве, еще не обретшей бюрократической мертвящей стати столицы, а сохранившей «семейное тепло» большого города-гнезда.

Совсем иными гранями отразился в литературе Петербург. В этом образе есть, с одной стороны, отзвук великих свершений становящейся Империи, что дало возможность А. Пушкину патетически провозгласить: «Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия!». Но, с другой стороны, писатели обнаруживают в петербургском пространстве зону ледящего отчуждения. Бедному Евгению, герою поэмы «Медный всадник», никогда не понять надличностную логику неумолимой поступи Государства. Петербург переменчив, этот город помпезных дворцов и убогих «углов». Он постоянно меняет свои обличья, свои векторы воздействия, пульсирует, превращаясь, скажем, у Андрея Белого (роман «Петербург») то в «точку, откуда исходит циркуляр», то в «бесконечность проспекта, возведенного в энную степень». В «точке» приватному человеку жить невозможно, но и на «семи ветрах» казенного проспекта существовать весьма неуютно. А. Белый насыщает свое повествование геометрическими понятиями: «пространство для циркуляции публики», «прямолинейный проспект», «линии», «математическая точка», «планомерность и симметрия», «в точке пересечения линий», «параллельных проспектов», «домовых кубов», «лакированный куб» (кареты), «параллелепипеды». Такой пронзительный в своей прямолинейности петербургский проспект открыт, распахнут *вовне*, он уводит человека куда-то в огромный и непонятный мир. Собственно, в этом-то как раз и заключается основная историософская функция Петербурга – вывести страну «на люди», во внешнее пространство, к далеким геополитическим горизонтам, ввести в европейскую семью народов. В такой изначальной двойственности (город как административно-политическая функция и город как повседневное, а значит, удобное пространство приватной жизни обычных людей) – неразрешимая драма Петербурга, как об этом убедительно свидетельствует художественный опыт Н. Гоголя и Ф. Достоевского. В Петербурге, в отличие от

прочно стоящей на земле Москвы, всегда была некая зыбкость, неукорененность, призрачность. Природно-климатическое своеобразие и географическое положение увеличивали «коэффициент» такой зыбкости (периодически случающиеся наводнения, осенне-зимние глубокие сумраки, пронизывающие балтийские ветра). Эпохи потрясений (революции, блокада 1940-х гг.) многократно усиливали это ощущение. Бездомье и бытовые неурядицы тут переживались острее.

В разные исторические эпохи перед нами предстают разные Петербурги, отслаивающиеся один от другого, как туманные тени, отбрасываемые одним человеком в свете нескольких фонарей. Эта почти мистическая призрачность не поддается рациональному постижению. Не случайно А. Белый как автор романа «Петербург» отказался от той топографической достоверности, которая диктовалась установившейся в художественной литературе традиции «городского правдоподобия». Л. Долгополов в монографии «Андрей Белый и его роман «Петербург» так пишет об этой особенности художественной модели северной столицы: «Петербург в романе как бы условный город, созданный в воображении в целях реализации «мысленных форм», то есть представлений самого автора о характере исторического процесса, каким он оказался в России в начале XX столетия» [1, с. 312]. И далее: «Город – широкий и грандиозный символ, в реальности столица могущественной, но пограничной империи – расплывается, теряет подлинные очертания, как только Белый сталкивается с необходимостью обозначить то или иное конкретное место, указать тот или иной адрес. Город сразу же, словно по мановению волшебной палочки, утрачивает свою достоверность. Характеризующийся бесподобной точностью деталей, он становится чем-то вымышленным с точки зрения их соотношения» [1, с. 315–316]. Почему такое происходит? Да потому что исторически-конкретное здесь подчинено символическому, отвлеченно-историософскому.

Символически в этом плане и рассказ Е. Замятина «Дракон» (1918), ключевыми (т. е. повторяющимися и семантически важными) словами в котором являются такие, как «неизвестное», «туман», «мир», «дракон». Писатель создает фантастически-жуткую картину революционного «люто замороженного» Петербурга: «Из бредового, туманного мира выныривали в земной мир драконо-люди, изрыгали туман, слышимый в туманном мире как слова, но здесь – белые, круглые дымки, выныривали и тонули в тумане. И со скрежетом неслись в неизвестное вон из земного мира трамваи» [2].

Жизнь на краю земли, «среди топи блат», в годину испытаний могла опускаться до самой запредельной точки – «пещерности». О.Г. Карасева в кандидатской диссертации «Поэтика рассказов Е.И. Замятина в контексте авторской концепции синтетизма (1920-е годы)» внимательно прослеживает те мотивы, которые выступают составляющими сложного интегрального образа пещерности у Замятина (мотивы оледенения, пустоты, звероподобия и т. д.). В поле зрения исследователя попадают такие устойчивые детали, как постоянное упоминание *глины*, *потоп*, *Ноева ковчега*, что в своей совокупности функционально «работает» на образ трагического движения вспять – к доисторическому времени. Рассматривая как отдельные тексты рассказов «Дракон», «Мамай», «Пещера», так и суммарно макротекст всей этой весьма своеобразной «трилогии», О.Г. Карасева справедливо замечает, что сверхинтегральный образ пещерности не равен интегральному образу пещеры, ибо пещерность суть состояние нравственно-психологического устройства жизни, категория, так сказать, бытийная, широкая в своем толковании.

Москва, несмотря на свои повторявшиеся в стародавние времена пожары (о чем писал историк Кавелин), на нашествие Наполеона и испытания XX века, до

такой пещерности не доходила, как бы все время чувствуя свою прочную национально-государственную и сакрально-христианскую корневую систему. Петербургский парадный фасад мог вдруг обнаружить свою ненадежную декоративную картонность. Славный Петрополь неожиданно оборачивался тотальным некрополем. Москва, даже входя в опасное пространство смерти, продолжала жить, сбрасывая старую чешую отжившего. В такой половинчатости метаморфоз, недоведенности до конца начатых реформ парадоксально обнаруживалась одновременно и сила, и слабость Москвы.

Сигизмунд Кржижановский, как и М. Булгаков, переехав в первые послереволюционные годы из Киева в Москву, пытался постичь систему смыслов нового для него города. Эти поиски нашли отражение в философской повести «Штемпель: Москва» и примыкающих к ней очерках («2000: к вопросу о переименовании улиц», «Коллекция секунд», «Московские вывески»). В описании Москвы находит развитие сквозная для творчества писателя оппозиция *жизнь/смерть*: «Всякому человеку, дому, делу, идее, раз они начали жить, хочется и нужно изжить себя до конца, но копеечная свечка не согласна: ей жаждется нового и нового, она спешит строить Москву поверх Москвы. И потому изжить себя до конца здесь никогда, никому и ничему, ни идее, ни человеку, не удавалось. До конца догорала лишь копеечная свечка. Но все умершее недожитком, до своего срока, и в самой смерти еще как-то ворошится. Отсюда основной парадокс Москвы: ни мертвое здесь до конца *не мертво*, ни живое здесь полно *не живо*; потому что как и жить ему среди мириадом смертей, среди чрезвычайно *беспокойных покойников*, которые хоть и не пробудны, но все как-то ворочаются под своими дерновыми одеялами. Москва — это старая сказка о живой и мертвой воде, рассказанная спутавшим все сказочником: мертвой водой окропило живых, живой — мертвых, и никак им не разобраться — кто жив, кто мертв и кому кого хоронить» [3, с. 536].

Сохранив статус культурной столицы, Петербург-Петроград-Ленинград неизбежно включался в процесс *музеефикации*, становился пространством исторической памяти. Зато на Москву, вернувшую себе статус столицы государства, обрушились все волны и политических, и административных, и, как следствие, градостроительных перемен. Е. Замятин в своих заметках «Москва — Петербург», написанных в эмиграции в 1933 г., так охарактеризовал этот процесс: «Императорский период, сравнительно мало заметный в Москве, на улицах и площадях, на набережных и в парках Петербурга оставил целую бронзово-каменную летопись, открывающуюся великолепным, воспетым Пушкиным “Медным Всадником” работы Фальконета. У революционного Петербурга хватило вкуса и выдержки, чтобы сохранить, за самыми малыми исключениями, все эти монументы. И у Петербурга хватило чувства стиля, чтобы один из немногих, уже не временных, а постоянных революционных монументов — «фигуру Ленина» — поставить не в центре, не среди ампирических зданий и императорских памятников, а ближе к рабочим окраинам, к Ленинграду (на площади у Финляндского вокзала). Москва с прежними памятниками обращается более непринужденно: так? года два назад, старые москвичи с изумлением увидели, что памятник Минину и Пожарскому переселился со своего места, поближе к собору Василия Блаженного. В новых своих постоянных монументах Москва предпочитает, как и в новых домах, «геометрический стиль» (белый обелиск в Александровском саду, серый — на бывшей Скобелевской площади). К сожалению, пока среди новых памятников ни в Москве, ни в Петербурге нет ни одного, который возвышался бы над средним уровнем, медный голос которого звучал бы с силой, хотя бы отдаленно приближающейся к силе петербургского “Медного Всадника”» [4].

Столичный город часто обретает статус места, которого надо достигнуть, выполняет функцию далекой, но очевидной цели. Человек ставит перед собой задачу покорить «свой Париж», в роли которого выступает одна из российских столиц. В этом отношении показательны многие писательские судьбы. Так, А.Н. Толстой устремляется в 1901 г. из Самары в Санкт-Петербург, где держит вступительные экзамены в четыре института, еще не помышляя о писательстве, но подумывая о перспективной карьере. Туда же, мечтая о профессии кораблестроителя, отправляется Евгений Замятин из захолустной тамбовской Лебедяни. Михаил Осоргин в ожидании студенческой жизни покидает на пароходе родную Пермь, связывая отныне свои надежды на будущее с Москвой. И таким же образом сотни российских юношей, прощаясь с родным гнездом, однозначно считали, что именно в столицах, где бурлит настоящая жизнь, произойдут и самоидентификация, и самоопределение, и самореализация их личности, только там в полном масштабе осуществится их заветная мечта. Это особенно характерно для эпох исторических перемен.

Историософский спор Москвы и Петербурга шел и идет постоянно на страницах произведений русской литературы. И конца этому спору не предвидится. Да и победителей в таком споре нет и, наверное, быть не может, потому что каждый образ столичного города, будь то Москва или Петербург, несет только свою часть общего историософского смысла России как Целого. Как справедливо отметил Н.А. Бердяев в статье «Астральный роман: Размышление по поводу романа А. Белого “Петербург”»: «Эфемерность Петербурга – чисто русская эфемерность, призрак, созданный русским воображением. Петр Великий был русский до мозга костей. И самый петербургский бюрократический стиль – своеобразное порождение русской истории. Немецкая прививка к петербургской бюрократии создает специфически русский бюрократический стиль. Это так же верно, как и то, что своеобразный французский язык русского барства есть русский национальный стиль, столь же русский, как и русский ампи́р. Петербургская Россия есть другой наш национальный образ наряду с образом московской России» [5, с. 311]. *Двуглавый орел*, смысловая оппозиция вечно спорящих двух столиц, два континента, занимаемых российской территорией, – в этой двуединности наша историко-культурная неповторимость. И художественная литература помогает выделить и осмыслить нюансы такой историософской проблематики.

В заглавии статьи помещено словосочетание «историософский потенциал». Это означает, что поиск максимально возможного числа историософских смыслов, тающихся в образных моделях двух российских столиц, в нашей литературе еще не завершен, наверняка есть те нераскрытые потенциальные смыслы, которые пока не выявлены и ждут своего первооткрывателя.

Библиографический список

1. Долгополов Л. Андрей Белый и его роман «Петербург»: монография. Л.: Сов. писатель, 1988. 416 с.
2. Замятин Е.И. Избранное. М.: Правда, 1989.
3. Кржижановский С.Д. Собр. соч.: в 5 т. Т. 1. СПб.: Symposium, 2001.
4. См.: Замятин Е. Москва – Петербург // Москва – Петербург: pro et contra [антология: диалог культур в истории национального самосознания]. М., 2000. С. 552–572.
5. Бердяев Н.А. Астральный роман: размышление по поводу романа А. Белого «Петербург» // Бердяев Н.А. О русских классиках. М., 1993.

*S.A. Golubkov**

HISTORIOSOPHICAL POTENTIAL OF LITERARY SHAPED MODELS OF MOSCOW AND ST. PETERSBURG

This article deals with the points difference of historiosophical semantics shaped models of Moscow and St. Petersburg, which we find in the works of Russian literature. Moscow appears in the function of centre-the collector of Russian lands, Petersburg as imperial centre displays the country into outer space. Each of these multidimensional models has its own balance of pro-governmental and private. Each type has its own part of the general historiosophical meaning of Russia as a whole.

Key words: historiosophical function, semiosphere, symbolic capital, «cultural text», shaped model, system of meanings, urban studies.

* *Golubkov Sergey Alexeevich* (golubkovsa@yandex.ru), the Dept. of Russian and Foreign Literature, Samara State University, Samara, 443011, Russian Federation.